

НЕЗНАКОМЫЙ КОСТИЦЫН

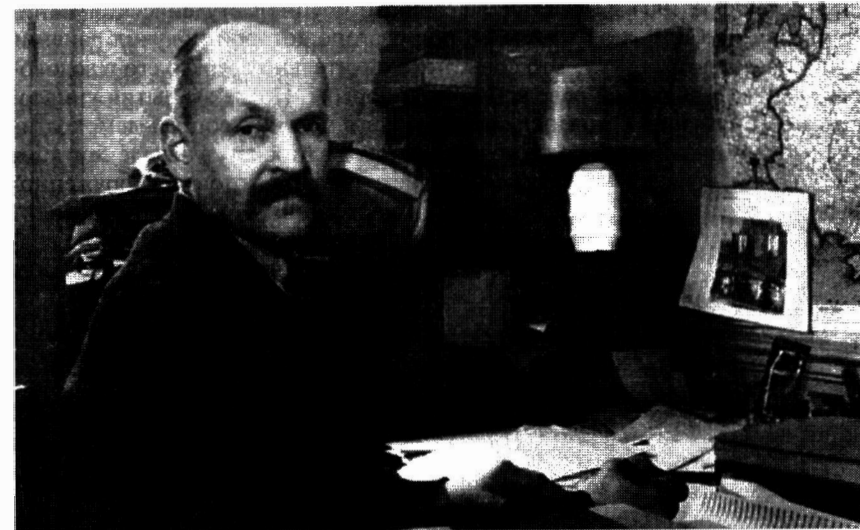
Тридцать три тетради

Н. А. Сидоров

Имя Владимира Александровича Костицына — математика, астрофизика, эколога (1883–1963) — известно лишь немногим специалистам. Как большинство ученых, которых вытолкнула за рубеж советская власть, он превратился в фигуру умолчания. И хотя его выдающиеся научные достижения теперь уже очевидны, сама незаурядная личность Костицына, его удивительная судьба окутаны туманом. Ряд историков (в их числе Н. С. Ермолаева) по крупицам складывают его мозаичный портрет, не подозревая, по-видимому, что в Российском государственном архиве социально-политической истории (Ф. 71. Оп. 15. Д. 402) хранятся его подлинные рукописные мемуары, дневники и отрывки автобиографии. Всего 33 довольно толстые общие тетради, в которые местами вклеены фотографии. Они написаны не на публику, а для себя, на склоне лет, чтобы убежать от одиночества. Итак, перед нами вся жизнь Владимира Александровича.

Его отец, Александр Васильевич, окончил историко-филологический факультет Московского университета. Преподавал в гимназии г. Ефремова историю, русский и немецкий языки. «Он был потомком пугачевца Ивана Костицына, который проник в Оренбург, чтобы убить губернатора Клингенберга и “поднять чернь”, но был схвачен», — написал Костицын. Мать, Ольга Васильевна, урожденная Раевская, происходила из рода Раевских, к которому принадлежал известный генерал Раевский, прославившийся в 1812 году под Смоленском и Бородиным. От матери герой нашего рассказа узнал и о «родственниках-декабристах». Возможно, это легенда, а возможно, что именно от них он перенял черты, из которых складываются бунтари и защитники отечества. А от отца он унаследовал ясный ум и отличную память, которые сохранил до конца жизни.

В 1894 г. Костицын поступил в гимназию, но с большой неохотой учился древним языкам. Зато приобщился к революционному движению. В гимназии появляются кружки для чтения и обсуждения литературы, быстро подпавшие под влияние марксистов. Образовалась тайная би-



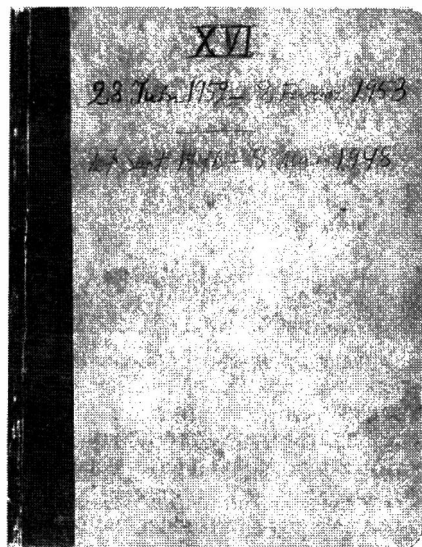
Владимир Александрович Костицын дома, в своем рабочем кабинете. 1947 г., Париж

блиотека, в которой, кроме политической литературы, хранились запрещенные книги по естествознанию. Костицына несколько раз наказывали за чтение Дарвина. В библиотеку допускали лишь с 7-го класса, да и то не всех, а руководили ею самые авторитетные ученики последнего, 8-го класса. Костицын в течение года занимал этот секретный пост.

В 1902 г. он поступил в Московский университет на математическое отделение физико-математического факультета. На кафедре физики преподавали П. Н. Лебедев и Н. А. Умов, механики — Н. Е. Жуковский, затем С. А. Чаплыгин, математики — Н. В. Бугаев, Л. К. Лахтин, Б. К. Млодзевский и Д. Ф. Егоров, ставший учителем Костицына. Как вспоминает Владимир Александрович, он и его товарищи увлекались также курсами В. О. Ключевского и К. А. Тимирязева. В то время в высшей школе запрещались всякие формы коллективной жизни, даже научные кружки. Попечитель учебного округа математик Некрасов «прославился» применением «математики» к доказательству необходимости охранных отделений, которые он именовал «социально-метеорологических обсерваториями», а тюрьмы — «изоляторами свободы». Однако самый воздух университета казался особенным, несмотря на постоянное присутствие инспектора, субинспекторов и «педелей».

Московское математическое общество умело обходить все запреты и устраивать внеочередные заседания со студенческими докладами. Первым секретарем этих заседаний был П. А. Флоренский, а его преемниками Н. Н. Лузин и Костицын. Председательствовал Жуковский. Конечно, существовали и нелегальные кружки — марксистские, народнические и либеральные. Костицын входил в марксистский кружок пропагандистов.

В декабре 1904 г. он стал участником крупной студенческой манифестации на Страстной площади, при разгоне которой получил ранения шашкой в голову и руку. Это событие окончательно ввергло его в водоворот профессиональной революционной борьбы. После закрытия университета он уезжает в Смоленск, где вступает в местную социал-демократическую организацию. А когда возвращается в Москву, в начале сентября 1905 г., ни о какой учебе уже речи нет: идет подготовка вооруженного восстания, Костицын руководит дружинами боевиков. В конце восстания он чудом спасся, избежав расстрела на месте.



Если иметь представление о масштабе деятельности Костицына по восстановлению Московской боевой организации РСДРП в 1906 г., трудно понять, каким образом ему удалось одновременно сдать зачеты в университете и получить право сдавать государственный экзамен. На Таммерфорской конференции военных и боевых организаций РСДРП его избирают во Временное бюро этих формирований. Весной 1907 г. он выезжает по делам Временного бюро в Петербург, затем совершает поездку по Финляндии, но по возвращении его арестовывают, и он 17 месяцев находится в «Крестах», под следствием. За это время его исключают из университета.

Суд Костицына оправдал «за полным отсутствием улик». Однако Департамент полиции располагал в отношении своего подопечного агентурными данными и оставлять его в покое не собирался. Понимая это, Костицын в начале 1909 г. эмигрировал. В столице Австрии он вступил в «группу содействия РСДРП» (так назывались заграничные организации партии) и начал учиться в Венском университете, но затем перебрался в столицу Франции. Деятельность в очередной «группе содействия» и здесь не помешала ему посещать Сорбонну, в то время переживавшую период расцвета.

Вместе с тем продолжалась и партийная жизнь: летом 1910 г. молодой математик два месяца прожил на берегу моря в местечке Парни, неподалеку от Нанта, под одной крышей с В. И. Лениным, который перед отъездом в Краков передал ему через Н. К. Крупскую предложение войти в ЦК большевистской партии. Костицын по ряду причин отказался. В том же году появились его первые публикации в «Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris» («Отчеты заседаний Парижской академии наук»). Одновременно в московском «Математическом сборнике» вышла его статья о системах ортогональных функций.

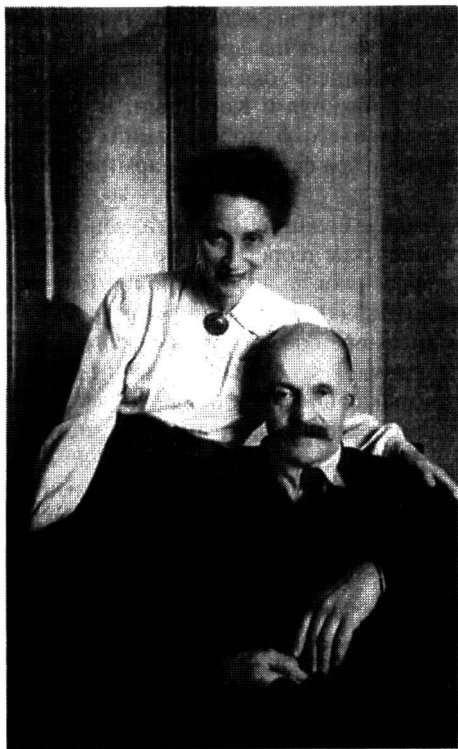
Накануне первой мировой войны, в мае 1914 г., Костицын принял участие в работе Международного конгресса математической философии и наблюдал такую сцену. Немец, итальянец, француз и англичанин, находившиеся в президиуме, взялись за руки и заявили: «Вот наилучшая гарантия международного мира!» Когда же немцы дружно отправились завоевывать Европу, то в лагере «оборонцев» оказались даже самые ярые интернационалисты. К их числу примкнул и Костицын. В августе 1916 г. Российское посольство уведомило его о мобилизации. У него была возможность влиться волонтером в ряды французской армии, но он решил возвращаться на родину.

После краткого пребывания в запасном авиационном батальоне в Гатчине Костицын был переведен на офицерские теоретические курсы авиации в Лесное. Грянувшая Февральская революция не дала спокойно сдать экзамены. В марте он активно участвовал в создании органов самоуправления в районе Лесного, наводненного возбужденными солдатами и студентами. Таврический дворец назначает Костицына временным командующим войсками в Лесном и примыкающих к финляндской границе районах. Он входит в состав социал-демократической группы «Единство», возглавляемой Г. В. Плехановым.

В августе 1917 г. Временное правительство назначило Владимира Александровича помощником комиссара Западного фронта, впрочем, из-за постоянного отсутствия самого комиссара, Н. И. Иорданского, он действовал как полноценный представитель нового правительства. Высшее командование фронта в лице генерала А. И. Деникина встретило 34-летнего Костицына прямым саботажем: попытка личного знакомства закончилась почти полным разрывом. После Корниловского выступления Костицын арестовал и Деникина, и ряд других генералов и направил А. Ф. Керенскому несколько секретных докладных записок, в которых пытался доказать, что надо, «поговорив с союзниками», демобилизовать значительную часть армии. Никакой реакции, естественно, эти послания не имели.

После октябрьской революции Костицын выходит из плехановского «Единства» и навсегда, как он пишет, прекращает партийную деятельность и идет «на советскую работу». Его назначают управляющим делами Всерокома — чрезвычайной комиссии по эвакуации, преобразованной впоследствии в Транспортно-материальный отдел ВСНХ (Трамт). В марте 1918 г. большевистское правительство само эвакуировалось из Петрограда. Оказавшись в Москве, Костицын постепенно возвращается к научной работе. Он начинает посещать библиотеку Астрофизической обсерватории Московского университета, готовит материалы для серии работ по строению звездных систем, первая из которых опубликована в 1910 г. в Париже, а последующие появились в советских научных журналах. В самом начале 1919 г. его назначают членом коллегии Научно-технического отдела ВСНХ, а в мае утверждают в должности преподавателя (доцента) математического анализа физико-математического факультета Московского университета.

Вскоре он получает ряд новых назначений: становится членом Государственного ученого совета, членом коллегии научно-технического отдела Госиздата, начинает работать для Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии. Осенью становится профессором математики в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова и уходит из Трамонта. В том же году Костицын с В. В. Стратоновым (позднее высланным из России на знаменитом «философском» пароходе) принимает участие в организации Астрофизического института (ныне Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга). Тогда же в Московском совете Костицын выступает с докладом о научном и просветительском значении планетария и необходимости его постройки в столице. И еще одно важное событие произошло в 1919 г. В августе он женился на Юлии Ивановне Гринберг (1899–1950), которая на протяжении 30 лет была его верным другом и помощником.



С женой Юлией Ивановной

Летом 1920 г. Владимир Александрович становится членом Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии в составе И. М. Губкина, П. П. Лазарева, А. Д. Архангельского и др. Он заведует магнитным отделом и вычисляет область и глубину залегания магнитных руд. Вычисления были подтверждены бурением. Впоследствии Комиссию наградили орденом Красного Знамени, а ее членам присвоили звания Героев Труда.

В начале 20-х годов при участии Костицына были созданы три института: Математики и механики, Астрофизический и Геофизический при Физико-математическом факультете Московского университета, объединенных в Ассоциацию научно-исследовательских институтов. Примечательно, что академики М. А. Лаврентьев, Л. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров, И. Г. Петровский и очень много профессоров советских вузов некогда были питомцами особенно близкого Костицыну Института математики и механики.

В мемуарах Владимира Александровича просматривается критическое отношение к правящему режиму, но с открытым протестом он выступил только однажды, в 1922 г., поддержав забастовку профессоров Московского университета и подписав петицию в Совнарком: «...Когда страна разорена, обнищала, последней ее надеждой должны быть знания и наука. Школу надо было оберегать до последней крайности. Вверженная в невежество страна исторически будет отброшена на несколько столетий». Тогда власть не решилась подавить бунт профессоров силой. На обвинения в «ренегатстве» Костицын отвечал: «Ренегат тот, кто присоединяется к партии после завоевания ею власти, а я, наоборот, отдав партии годы борьбы, тюрьмы и эмиграции, не гонюсь ни за властью, ни за почетом, даю свои силы и свой труд, но хочу, чтобы это было не зря и не впустую».

Как заведующий Научным отделом Главнауки, Владимир Александрович в мае 1927 г. выехал в командировку

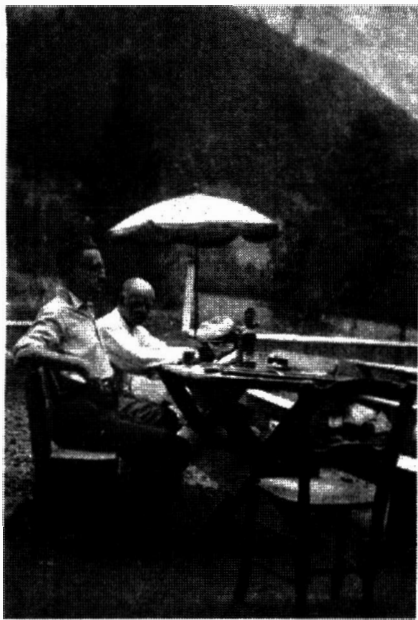


Юлия Ивановна во время путешествия по Швейцарии. 1946 г.

во Францию, одновременно сопровождая жену, направленную Тимирязевской академией на стажировку в Сорбонну в Лабораторию экспериментальной морфологии. В Париже Владимир Александрович провел на два месяца больше положенного командировочного срока, за что был освобожден от занимаемой в Главнауке должности. В августе 1928 г. ему с трудом удалось получить разрешение на выезд во Францию «для лечения». Однако обстановка в СССР резко изменилась. Неудачи и просчеты в хозяйственном строительстве сталинская верхушка свалила на саботаж «спецов». После судебного процесса по шахтинскому делу началась открытая «охота на ведьм». На закрытом заседании коллегии Наркомпроса была принята характерная для тех лет резолюция: «...поручить Главнауке справиться в нашем полпредстве во Франции о политическом поведении проф. Костицына в Париже. Одновременно поручить Главнауке совместно с ГПУ проверить обстоятельства и порядок выезда проф. Костицына».

Через знакомых Владимир Александрович узнал, что на родине о нем говорят как о «враге народа» и по возвращении его неминуемо ждет арест.

Так началась его эмиграция. Первое десятилетие было отмечено борьбой за существование. Научное творчество Костицына приняло новое направление: он занялся решением задач биологии математическими методами. Первая его работа в эмиграции была написана в соавторстве с женой и посвящена математико-статистическому анализу инвазии (заражения) раков-отшельников. Началось тесное сотрудничество с известным итальянским математиком Вито Вольтеррой. В 1938 г. вышла их совместная статья. Костицын опубликовал около двух десятков работ по эволюционной теории, естественному отбору и связи биологических и геофизических феноменов, в том числе монографии: «Симбиоз, паразитизм и эволюция» (1934), «Эволюция атмосферы, биосферы и климата» (1935), «Математическая биология» (1937; англ. пер. 1939).



Владимир Александрович с товарищем по Сопротивлению Игорем Александровичем Кривошеиным. Швейцария. 1946 г.

надским, который в то время находился во Франции, и обсуждал с ним геологические проблемы, что способствовало появлению в том же году статьи Костицына «Об одном приложении дифференциальных уравнений в геологии». В 1942 г. Костицыну присудили премию Монтёна Французской академии наук.

После оккупации Парижа немецкими войсками он был заключен в Компьенский лагерь для интернированных, но через некоторое время освобожден. Принимал активное участие в движении Сопротивления. Только благодаря своей выдержке избежал ареста гестаповцами и вынужден был скрываться в провинции. После войны Владимир Александрович подал заявление в советское посольство в Париже и получил заграничный паспорт советского гражданина, однако на родину не вернулся.

В 1950 г. умерла его жена. Горечь утраты была настолько сильна, что Костицын начинает писать мемуары и дневник, вспоминая прошлое и общаясь таким способом с ушедшим из его жизни единственным

родным на чужбине человеком. В 1963 г. не стало и Владимира Александровича. В соответствии с волеизъявлением покойного, его научные рукописи поступили в Пастеровский институт, книги — в Тургеневскую библиотеку в Париже. Мемуары — 33 общие тетради — советское посольство пересылает в Москву, в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС как содержащие воспоминания о революционной работе автора и его встречах с В. И. Лениным. В настоящее время, как уже говорилось, дневники хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории.

Владимир Александрович установил научные контакты с ведущими французскими экологами. В 1932 г. он встречался с В. И. Вер-

Мы публикуем небольшие выдержки из первых тетрадей. Время действия — первые годы советской власти. Место действия — Москва. Герои — ближайшее окружение Костицына, в том числе известные ученые, о которых он порой говорит нелестные слова. Но это его личное дело.

Надо предупредить читателя, что воспоминания написаны в форме разговора с женой, Юлией Ивановной, и читаются как роман о жизни в мире науки, политики и нежной любви.

Надо предупредить читателя, что воспоминания написаны в форме разговора с женой, Юлией Ивановной, и читаются как роман о жизни в мире науки, политики и нежной любви.

«Говорить мне не с кем» Из воспоминаний В. А. Костицына

Мой французский дневник не удовлетворяет меня: страничка на каждый день едва достаточна для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье, моя дорогая и верная спутница трудных дней. Мы с тобой сумели пронести сквозь тридцать лет совместной жизни нашу любовь нетронутой и незапятнанной. К тебе обращаются все мои мысли, с тобой и о тебе мне хотелось бы говорить, как мы уже говорили в последние недели твоей жизни, во время ночных бдений, когда ты боялась засыпать, а я боялся тебя оставить одну. Были ночи, когда воспоминания наши шли с момента первой встречи, а в другие ночи мы говорили о настоящем, о счастье быть еще вместе, и о будущем, так как и ты и я еще надеялись на будущее... Я хочу собрать все мои воспоминания о тебе. Говорить мне не с кем. Детали, которые мне близки и дороги, в других вызовут только скуку, а в других, даже в хороших друзьях, недоброжелательство, так как человеческая натура сложна и противоречий в ней много...

Вернуться нужно к маю 1918 года, хотя я в это время еще не знал тебя. Я приехал из Петрограда в Москву, в город, с которым в преды-



Юлия Ивановна за работой в своей лаборатории в Сорбонне

душе годы был сильно связан и который очень любил. (...) Оба мы в этот момент работали в Трамте (Транспортно-материальном отделе ВСНХ) — преемнике Всерокома, и для обоих нас это не было идеалом ни с какой точки зрения. Я занимал там высокое положение, но оно было совершенно временным выходом, навязанным ходом вещей.

Вернувшись в Москву, я старался вернуться в университет. С осени 1918 года я регулярно работал на обсерватории, собирал материал для моей работы о звездных скоплениях. Я поставил вопрос перед моими университетскими друзьями об открытии курса лекций. Д. Ф. Егоров и С. А. Чаплыгин отнеслись к этому сочувственно, и благодаря им мое желание увенчалось в конце концов успехом. Я встретил неожиданное сопротивление со стороны Николая Николаевича Лузина. Когда я заговорил с ним об этом, он мне ответил: «Да, конечно, очень хорошо было бы, если бы вы смогли возобновить вашу научную работу, ведь сам наш

народный комиссар Луначарский приглашает интеллигенцию на помощь в борьбе с мраком невежества. Святые слова!» Я ему ответил, что можно только радоваться, если призыв будет услышан, и что я со своей стороны, наследственный просвещенец, о том только и мечтаю, чтобы отдать все мои силы на помощь власти в этом направлении. И тут вдруг лицо его исказилось яростью, он заговорил в другом духе: «Как можете вы, бывший офицер, человек, умеющий владеть оружием и обладающий боевым темпераментом, добиваться спокойного места в университете, когда на юге идет борьба за счастье России против безбожников, убийц и обманщиков». Я ему весьма холодно сказал: «Если таковы ваши политические симпатии, никто вам не мешает сделать то, что вы мне советуете, тем более что и во время войны патриотом были вы, а на фронте был я...» Все это не помешало ему несколько месяцев позже, когда я был избран факультетом, меня поздравить...

Здесь нужно поместить несколько эпизодов и, прежде всего, обыск у вас и арест Ивана Григорьевича (отца Юлии Ивановны — Н. С.) (...) Иван Григорьевич и его друзья, такие же старые деловые люди, как и он, развлекались и утешались, собираясь поочередно друг у друга для игры в карты. Игра была тихая, «коммерческая». Ставился самовар, заготавливались бутерброды и, если удавалось достать, сладкое, и, чтобы не бродить по ночам, играли до рассвета тихо, мирно и безобидно. В вашей квартире это происходило в столовой, а мы с тобой в этот день сидели в кабинете Ивана Григорьевича и читали. И вот часов около 10 вечера — звонок, на который я не обратил внимания, но ты сейчас же насторожилась и сказала, что происходит что-то необычное. Мы вышли в коридор и увидели, что он был полон вооруженными людьми. Человек небольшого роста в штатском, назвавшийся комиссаром чека Бладиском, предьявил приказ об обыске. Обыскали всю квартиру (а в ней было 10 комнат, не считая кухни и служб), открывали все шкафы и сундуки (а их было много), и комиссар говорил солдатам: «Вот посмотрите, как живет буржуазия — сколько серебра, посуды, одежды, белья и какое белье, какая посуда, и какая мебель. Имели ли вы об этом понятие раньше?» В столовой он увидел карты и деньги на столе: «А вот посмотрите, чем они занимаются в наше напряженное время: там на фронте борьба, здесь холод и голод везде, но не у них. Ваши документы, граждане, но не все, а только те, что тут играли». Из документов вытекало, что все присутствующие — ответственные советские работники. «Ну, уж это из рук вон! Что за маскарад? Да и не все они тут? Где же еще один, который был в начале обыска?» А этот пропавший был Александр Александрович Г., который со свойственной ему «гибкостью», сразу приспособился помогать комиссару при обыске, и после четырех часов совместной работы комиссар уже стал его принимать за члена своего отряда. Обнаружив его, комиссар покачал головой и сказал: «Ну, теперь игроки все тут. Одевайтесь, я вас арестую». В этот момент раздалось несколько последовательных выпусков газа, что немного нарушило торжественность момента. Их увели. Я остался до утра, чтобы всех успокаивать и как только забрезжил рассвет, я стал те-

лефонировать по всем моим влиятельным друзьям. Результат определился довольно скоро: к 10 часам утра все были освобождены, но все начальства получили предписания объявить выговор преступным игрокам. Наш Сергей Владимирович (Громан — заместитель председателя Транспортно-материального отдела ВСНХ. — *Н. С.*) объявлял выговор Ивану Григорьевичу и Александру Александровичу в такой форме: «Очень жалею, что не участвовал в игре и не присутствовал при обыске». После этого он регулярно приглашался на все последующие «заседания». Все кончилось хорошо, но за эту ночь ты и твоё семейство переволновалось порядком...

К апрелю 1919 года стали выясняться мои университетские дела. Совет факультета меня избрал преподавателем по кафедре чистой математики, но прежде чем приступить к чтению лекций нужно было еще утверждение в должности Народным комиссариатом просвещения. Пришло и это утверждение. Я не медлил и с начала мая стал читать мой первый университетский курс по теории специальных функций. Слушателей у меня было немного, но они были толковые и постоянные...

Я помню, с каким чувством я присутствовал в первый раз на факультетском собрании и с каким уважением я смотрел на моих коллег, и нужно сказать, что они заслуживали уважения. С тех пор я перевидал много научных учреждений и научных деятелей в России и за границей. До моего вступления в преподавательский состав университета у меня бывало много раз критическое отношение к русской науке и к русским ученым. В русских газетах и журналах часто утверждали, что русские диссертации списаны с немецких учебников, что профессора, достигнув положения, перестают вести научную работу, что многое делается в угоду власти...

Мои грехи зависели главным образом от того, что я учился в Сорбонне в самое блестящее время, слушал лекции Poincaré, Picard, Darboux, ученых с мировой репутацией; слушал и многих иностранных гостей приезжавших в Париж и никогда не доезжавших до Москвы: Lorentz, Arrhenius, Volterra, Mittag-Leffler и т. д. Это ослепляло, и Москва, конечно, была более «провинциальна». Но со времени моего возвращения в Россию я знакомился с русской наукой и с русскими учеными, сравнивая, и у меня получалась совершенно иная картина. Я убеждался, что, например, наши механики Жуковский и Чаплыгин намного выше их парижских коллег, что работы Ляпунова глубже и точнее работ Poincaré на те же темы, что московская школа по теории функций с Егоровым, Лузиным, Приваловым и Хинчиным не ниже парижской и, во всяком случае, живее и активнее, что наши астрономы и в Пулковке, и в Москве, и даже в Ташкенте делают гораздо больше интересной работы, чем все вместе взятые обсерватории некоторых стран Западной Европы. Поэтому, очутившись рядом с геологом Павловым, сравнительным анатомом Мензбиром, зоологом Северцовым, астрономом Стратоновым и моими дорогими математическими учителями-друзьями, я чувствовал, что в моей жизни наступает перелом. Я помню, как после моей первой лекции я отправился к тебе, а ты меня ждала с лаской, с любовью и с чаем; помню, как ты меня спрашивала о мельчайших деталях. Пришел и Иван

Григорьевич, и разговор перешел к заграничным поездкам, к Ницце... Он вспоминал, как каждое Рождество он отряхивался от всех московских дел, брал паспорт, садился в прямой поезд и через два дня видел теплое море, пальмы, прятал шубу и отправлялся гулять в пиджаке. У него все время была надежда, увя, не оправдавшаяся, что еще раз такая поездка окажется возможной. Так мы втроем долго и дружески беседовали...

В числе событий июня 1919 года, которые определили наше будущее, нужно упомянуть мой официальный визит заместителю декана проф. Всеволоду Викторовичу Стратонову. Визит ректору М. М. Новикову и декану А. Н. Реформатскому носил чисто казенный характер, но со Всеволодом Викторовичем мы сразу почувствовали друг к другу симпатию. Этому весьма способствовало то, что я был одним из немногих русских астрономов, знакомых с его работами.

Дело в том, что профессором Университета Стратонов стал очень недавно, и к нему его астрономические коллеги относились незаслуженно критически. Блажко охотно шептал, что Стратонов провалился на магистерском экзамене в Одессе. Это было верно, но вина была не его, а профессора механики Занчевского (кстати сказать — отъявленного реакционера), который из своего второстепенного для астрономов-наблюдателей предмета сделал серьезное препятствие, намеренно проваливая астрономов. Это, собственно, является его единственным правом на посмертную славу. Так продолжалось несколько лет, пока профессора астрономии не добились пересмотра программ магистерских экзаменов.

Провалившись, Стратонов оставил мечты об академической карьере и превратился в астронома-наблюдателя, а впоследствии и директора, на новой Ташкентской астрономической обсерватории, принадлежавшей Военному Министерству. В Ташкенте он развернул исключительную по размаху и энергии деятельность. Он опубликовал в течение десяти лет большое количество первоклассных мемуаров по вопросу о строении звездной системы, о деятельности Солнца, о строении некоторых звездных куч, о переменных звездах по собственным наблюдениям. Эти мемуары печатались на французском языке и быстро доставили ему широкую известность за границей. Военное ведомство проявляло большой либерализм и давало средства щедрее, чем Народное просвещение. Правда, как-то при посещении Обсерватории военным министром Куропаткиным обратили внимание на французский язык, и министр сказал Стратонову: «В общем, я ничего не имею против, но все-таки, подумайте, если бы какой-нибудь офицер захотел почитать, что такое вы печатаете, он не мог бы этого сделать из-за языка. Печатайте же что-нибудь и по-русски».

Не знаю, как вышел бы Стратонов из этого положения; может быть, ссылаясь на это, он добился бы новых кредитов, но с ним произошла беда: глаза его не выдержали наблюдательной работы, и ему угрожала слепота. Пришлось бросить обсерваторию и научную деятельность и взять место директора отделения Государственного банка в Твери. Там он пробыл несколько лет, и, будучи не в силах расстаться с астрономией, выпустил несколько популярных книжек. Кажется, это было признано не соответ-

ствующим достоинству директора банка, и он был принужден покинуть Тверь. В этот момент он получил предложение заместителя на Кавказе Воронцова-Дашкова занять должность правителя Канцелярии, иначе говоря «председателя совета министров» или вице-короля, каковым фактически являлся Воронцов-Дашков. Здесь Стратонов проявил широкую деятельность, стремясь увеличить грамотность, благосостояние, расширить дорожную сеть, улучшить хозяйство. Вместе с тем он продолжал писать и печатать астрономические популярные книги и, в частности, выпустил с невероятной роскошью огромную монографию о Солнце. Либерализм и астрономия его погубили, и с уходом Воронцова-Дашкова с Кавказа Стратонову пришлось снова стать директором банка в Ржеве. Там он выпустил менее роскошную, но солидную монографию о звездной вселенной. Пришла революция, банки закрылись, но для Стратонова открылся доступ в Университет: он поставил свою кандидатуру в профессора астрономии, был избран, стал читать курс общей астрономии, а факультет, почувствовав в нем человека с большим административным опытом, избрал его помощником декана. Профессора астрономии на него косились, распространяли о нем сплетни, он это знал, и потому ему было вдвойне приятно, когда я ему сообщил, что в Париже говорят о его работах с уважением. Он сейчас же меня спросил, что я думаю о пулковской астрофизике. Я ему ответил, что там ряд почтенных людей сделал много интересных работ, но что для современной астрофизики Пулково слишком бедно оборудовано и устарело. «Не правда ли?» — сказал он с живостью и сейчас же мне показал свой проект организации на юге, преимущественно в горах, большой астрофизической обсерватории. Узнав, что я член Государственного ученого совета, он попросил меня оказать содействие при прохождении этого дела в ГУС, что я ему охотно обещал.

Я возобновил еще одно знакомство, также имевшее некоторое значение для будущего. Я имею в виду Петра Петровича Лазарева. Первое знакомство у нас состоялось еще в 1904 году на студенческой скамье в Университете. Я был третьекурсником, а он, уже врач, был принят на третий курс, чтобы в течение года подготовиться к государственному экзамену. Меня ему представили как *sujet d'élite n° 1*, что ему не очень понравилось, так как всегда и везде он первым считал себя, и наше знакомство далеко не продвинулось. Об его дальнейших успехах я читал в газетах, о том, что он лучший ученик Лебедева, об его уходе из Университета в 1911 году вместе с другими физиками после отставки Лебедева, об организации на собранные по подписке средства Физического института, в котором должны были найти приют все ушедшие из Университета физики. С большим удивлением я прочитал в «Русском слове» статью Климента Аркадьевича Тимирязева о ловкости рук Лазарева, который сумел остаться в построенном институте единственным хозяином и не дал места для работы ни одному из своих товарищей.

Вернувшись из-за границы в 1916 году, я повидался с Лазаревым, по совету Н. Н. Лузина, для беседы об одном физическом вопросе, который интересовал в разных аспектах и меня и его. Из свидания, конечно,

ничего не вышло. И вот теперь, в 1919 году летом, мне пришлось снова побывать у него для беседы по вопросу о Курской магнитной аномалии, которой интересовался Наркомпрос. На этот раз П. П. был любезнее и даже предложил мне участвовать в математической разработке наблюдений, указав, что именно его интересует, но совершенно отказался от разговоров в ведомственном плане, находя, что от Наркомпроса ничего хорошего ждать нельзя. Действительно, Наркомпрос был беден, а на дверях Физического института (правильное название — Институт физики и биофизики. — Н. С.) были вывески: «Н. К. по военным делам — Высшая Школа военной маскировки», «ВСНХ — Главное Управление Горной Промышленности — Лаборатория», «НК Здравоохранения — Рентгенологический Институт» и т. д. Во время этого моего визита П. П. охотно показал мне Институт — прекрасно построенное здание, но производимой работы я не видел. По пути он провел меня мимо решетки из деревянных планок, где на каждом перекрестке была прикреплена проволокой картонная трубочка, и на мой вопрос он мне объяснил, что это модель кристалла, и что каждая трубочка означает молекулу. Во время моего следующего визита он водил по Институту представитель Наркомздрава, и тут уже решетка с трубочками оказалась моделью нервной ткани, а картонные трубочки выражали нервные клетки. Когда я рассказал об этом Тимирязеву, он засмеялся и в свою очередь рассказал мне о том, как Лазарев получил от банкира Маркса деньги на рентгенологическую лабораторию. У него не было ни приборов, ни работников, ни работы, но он объехал все московские лаборатории и занял все приборы, какие могли ему дать, якобы для выполнения спешного военного задания. Он расставил приборы в одной из пустовавших зал Института и к приезду Маркса засадил за приборы своих студентов. Затем, проведя Маркса по Институту, он усадил его в своей магнитной лаборатории и приступил к «эффектному» опыту: он накалил кварцевую пробирку (тогда — большая новость), бросил ее в ледяную воду и сказал: «Видите, она не лопнула». Пораженный Маркс с этим согласился. «Так вот, — продолжал Лазарев, — нам для организации всех работ, которые вы видели, нужно 30 тысяч рублей», и немедленно их получил. На следующий день он вернул приборы владельцам, а еще через несколько дней он открыл в Институте с большой помпой и к общему удивлению настоящую рентгенологическую лабораторию. Так вот с этим гангстером мне пришлось работать по разным ведомствам в течение нескольких лет... Я упомянул уже несколько раз Тимирязева. Тимирязев-сын — физик, ученик Лебедева, оказался очень хорошим товарищем по работе в Госиздате и как-то пригласил меня к себе, и тогда я имел счастье встретиться с его отцом, которого уважала вся Россия, а студенты боготворили. Не мне говорить о его научных заслугах. От ботаники в то время мы, математики, были очень далеко, и никогда бы мне не пришло в голову, что я впоследствии стану специалистом по математической биологии. То, что нас привлекало в Тимирязеве — это благородная смелость в борьбе против несправедливостей и против преступного режима. Тимирязев никогда не молчал

и никогда ничего не замалчивал, и голос его раздавался смело и открыто. Его статьи в «Русских ведомостях» — либеральной, но не революционной газете были шедевром искусства сказать, что нужно, не употребляя громких слов. Он много печатал воспоминаний о заграничных поездках, о встречах с крупными учеными и каждая его статья была гораздо дальше своего непосредственного сюжета...

Супружеская пара — Климент Аркадьевич и его жена — представляла очень трогательное зрелище, какое для постороннего глаза, вероятно, представляли и мы с тобой, а именно любви и дружбы, бережно хранимой на протяжении десятков лет, полной солидарности и взаимной поддержки перед внешним миром. Я был принят чрезвычайно ласково, и мы много говорили о текущем моменте, далеко не во всем оказываясь солидарными, но и не очень расходясь. Главная разница была в оценке университетской профессуры, к которой он относился подозрительно, и не без основания, и главное сходство — в совершенно отрицательном отношении к Академии наук и в полном недоверии к ее чиновничьей покорности по отношению к советской власти. «Эти штукари, — говорил он, — рады подоить любую коровку; надеюсь, что власть не поддастся на эту удочку»...

Прежде чем покинуть 1919 год, нужно поговорить об академических делах. Осенью Д. Ф. Егоров сообщил мне, что на ближайшем заседании Московского математического общества я должен сделать доклад и что я буду затем избран в члены общества. Это было для моего самолюбия и для моего научного положения весьма приятное известие. Московское Математическое общество выбирало в члены лишь тех математиков, которые зарекомендовали себя научными трудами и вели преподавание в высшей школе. Это были условия необходимые, но недостаточные, как показал недавний в то время пример Дмитрия Павловича Рябушинского, который не был избран. Я выбрал как тему «Строение шарообразных звездных куч», вопрос, по которому я опубликовал работу еще в Париже в 1916 году и по которому я продолжал усиленно работать с осени 1918 года. Я сделал доклад весьма благополучно. Болеслав Корнелиевич Млодзевский весьма вежливо задал мне несколько вопросов, которые он считал ехидными, но которые меня не смутили. Были выборы, и я был избран не единогласно, но хорошим числом голосов. Я уже знал, что Николай Николаевич Лузин вел против меня кампанию, которая не дала больших результатов. После моего избрания он подошел ко мне и меня поздравил, подробно расписав, какую он чувствует радость и почему именно. Я не удержался и спросил его, что он будет говорить, завернув за угол...

Этой же осенью математическая семья потеряла одного из своих членов. В той борьбе, которая шла на бесконечных фронтах гражданской войны, симпатии большинства профессуры не были на стороне советской власти. Даже умеренные социалистические партии имели в высшей школе мало сторонников. Особенно многочисленны были кадеты, а эта партия заняла после февраля 1917 года враждебную позицию по отношению к социализму и после Октябрьской революции стала вдохновительни-

цей южной и восточной реакции. В бесчисленных заговорах, которыми кишела Москва, наряду с кадетами участвовали многие умеренные социалисты, но не им принадлежало будущее, и не они были хозяевами. И вот оказалось, что в одном крупном заговоре, раскрытом ЧК, некоторую роль играл профессор-математик Александр Александрович Волков. Это был скромный, тихий и довольно молчаливый человек, который мало принимал участия в довольно откровенных обменах мнениями на текущие темы, которые происходили в математической профессорской. Я его помнил еще со студенческих времен, и ему, молодому приват-доценту, я отвечал на экзамене по аналитической геометрии в 1904 году. Никто не думал, чтобы он мог играть какую-либо роль в каком-либо заговоре, а когда он был арестован, оказалось невозможным узнать, в чем же было дело. Дело было очень серьезно: арестованными оказались очень многие известные политические деятели кадетского толка. Неизвестна была участь С. А. Чаплыгина. Знали, что Волков и некоторые другие лица были арестованы при выходе из квартиры С. А., знали, что у С. А. был обыск, но куда он сам девался, никто не знал, и за него все боялись. Прежде всего, нужно было выяснить, что же именно вменяется в вину Волкову, и нельзя ли ему как-нибудь помочь. Были мобилизованы все связи в правительственных кругах, но узнали очень немного: на Волкове были найдены зашифрованные документы, расшифровкой которых он занимался. Говорили, так ли это, я не знаю, что он взялся за это дело из чисто математической склонности к головоломкам чисто случайно, не имел до этого никакого отношения к заговору. Один видный деятель, с которым я имел беседу, сказал мне, что Волков систематически занимался расшифровкой и зашифровкой переписки с денкинцами, и что спасти его невозможно, этому лицу я имел все основания верить. Через несколько дней появился список расстрелянных по этому делу лиц; в нем значились супруги Вахтеровы, Волков, несколько членов ЦК кадетской партии; всего свыше пятидесяти человек; Чаплыгина в списке не было.

Этой же осенью я познакомился с Отто Юльевичем Шмидтом. Свою математическую подготовку он получил в Киеве; в Киеве же он был приват-доцентом. Между февралем и октябрём 1917 г. он занимал крупный пост в Министерстве продовольствия и в течение нескольких месяцев после октябрьского переворота он был противником советской власти; потом... стал коммунистом, и все это выглядело нехорошо, и отзывы о нем были плохие. Я не помню, по какому поводу мне нужно было с ним познакомиться. Я увидел в обширном кабинете в здании Новых торговых рядов весьма бородатого человека со слегка немецким акцентом, очень культурного, очень умного и очень любезного. После нескольких минут разговора все мои предубеждения рассеялись, и я сразу увидел, что его обращение в коммунизм вполне искреннее и что в случае необходимости у него хватит силы воли, чтобы активно защищать свои убеждения. Он очень интересовался московской математической жизнью и московскими математиками, и я сейчас же внутренне решил сделать все от меня зависящее, чтобы подготовить почву для сближения. Это

192 1) Апрель 1950. Знаю же своего и познакомился с Ойто Юзефовичем Шмидтом. Своим математическому образованию он получил в Киеве; в Киеве же он был преподавателем. Между февраля и сентября 1917 г. он занимал кружковые курсы в Митисинской Крестьянской школе и в течение нескольких месяцев носил оккупационный наряд. Вероятно он был противником советской власти; потом... стал коммунистом и членом Комитета Карагарада. Со временем все это вышло из головы, и он уже о нем почти ничего не помнил. Я не помню, но как-то когда-то мне нужно было с ним познакомиться. Я увидел в административном кабинете в здании Новых Палатовых рядов весьма образованного человека со слегка немецким акцентом, очень культурного, очень умного и очень любезного. После нескольких минут разговора все мои предубеждения рассеялись и я сразу увидел, что это именно в Коммунизме вполне искреннее и чистое сердце человечности у него хранилось.

Страница из воспоминаний Костицына

мне удалось. Шмидт очень понравился Дмитрию Федоровичу [Егорову] тем, что с достоинством отстаивал в разговоре коммунистическую политику, отнюдь не стараясь понравиться собеседнику. Шмидт понравился и Б. К. Млодзеевскому. Через некоторое время удалось ввести его и в Московское математическое общество. Вел он себя с очень большим тактом и ни разу не дал никакой фальшивой ноты...

Из старой профессуры нельзя не упомянуть Леонида Кузьмича Лахтина. Любимый ученик Бугаева и его преемник с 1904 года, он записался в Союз русского народа. Вот, казалось бы, достаточные причины, чтобы мы с ним оказались на ножах. Ничего подобного. Я очень скоро оценил его прямоту, твердость в защите своих мнений, большую справедливость, большую доброту. Очень удивленный, я стал наводить справки и узнал, что таким же он был на всех высоких постах и что из Союза русского на-

рода он демонстративно ушел, когда выяснилась погромная деятельность этой организации. В советское время он очень много работал по математической статистике и как ученый и как практический деятель, работал не за страх, а за совесть; на этой работе он и погиб, простудившись в неоплаченных помещениях.

Я уже упоминал Б. К. Млодзеевского, а о нем следует сказать кое-что. Для всех студентов-первокурсников всегда первым математиком в университете бывал Болеслав Корнелиевич. Он читал курс аналитической геометрии и обладал даром слова и педагогическим талантом, он читал его блестяще, с необыкновенным изяществом и с чрезвычайной ясностью. Он imponировал студентам своей манерой держаться. Если какой-нибудь студент позволял себе выйти из аудитории, Б. К. останавливался обязательно на полуслове, поворачивался к дерзкому и сопровождал его взглядом до самой двери. Как только дверь закрывалась, он договаривал вторую половину слова и продолжал дальше. На зачетах и экзаменах он бывал всегда необычайно вежлив и язвителен; часто бывали диалоги в следующем роде: «Может быть, вы нам скажете любезно, чему равен эксцентриситет параболы?» — «Как будто единица», — отвечает напуганный студент. «А может быть, вы уточните ваш ответ; что же это в конце концов, единица или около единицы?» «Как будто около единицы» — «А больше или меньше единицы?» — «Как будто меньше». — «Так, а на сколько именно? Ну скажите в сотых долях, приблизительно». — «Около пяти сотых». «Ну что же, принимая во внимание ваши усилия, я из вашей отметки не вычту этих пяти сотых». Студенты ему не прощали, что он вместо того, чтобы просто погнать на место, разыгрывал эти маленькие сцены. Таким он был во всех своих выступлениях; между тем, если откинуть эту форму, говорил он весьма умно и дельно. Он сам первый пострадал из-за своей язвительности: ему не удалось образовать школы. Оставленные им при университете старались всегда его покинуть. Он видел это, мучился и не понимал, в чем дело.

Когда он объявил специальный курс по теории функций действительного переменного, велико было наше ликование; мы (Лузин, Фиников, Бюшгенс, Некрасов и я) надеялись иметь блестящее изложение новейших работ, столь же блестящее, как тот курс аналитической геометрии, который дал нам столько удовольствия и пользы. Ничего подобного. Курс читался по устаревшим немецким учебникам, с большою неуверенностью, хаотично, и предметом лектор явно не владел. Это было тем более удивительно, что все публичные выступления Млодзеевского всегда были чрезвычайно блестящи.

Раз в неделю мне приходилось участвовать в заседаниях Государственного ученого совета — вечером по пятницам в помещении бывшего учебного округа у храма Христа Спасителя. Это было очень интересное и очень важное учреждение в эпоху, когда все старое ломалось и искали новые пути. Через него проходили все дела, касающиеся высших учебных заведений и научных учреждений, уставы, программы, учебные планы, назначения профессоров и т. д. Председателем его был заместитель народ-

ного комиссара просвещения Михаил Николаевич Покровский, которого я хорошо знал по работе в партии и по эмиграции, начиная с 1905 года. В настоящее время принято говорить о нем как о вредителе. Это неверно, и я думаю, что мой голос имеет вес в этом вопросе: никто не сражался с Покровским так упорно, как это делал я; никто ему не высказал столько неприятных истин, как я; и редко кто относился столь отрицательно к его деятельности, как я, и все-таки вредителем он не был. Это был человек с очень крупными достоинствами и с огромными интеллектуальными и моральными дефектами. К марксизму и к социализму он пришел сравнительно поздно, пройдя в политическом отношении через «Освобожденчество» и в научном через школу Ключевского. Зная это про себя, он при обсуждении каждого вопроса вспоминал, как его решали соответственно Струве или Ключевский, и старался дать иное решение, хотя бы вопрос был решен вполне правильно. Зная, что новое всегда борется со старым, он заискивал перед новым и ничего так не боялся, как быть обвиненным в старческом застое мысли. Поэтому, думая про себя иначе (и иногда *post factum* высказывая в дружеском разговоре свои действительные мысли), он всегда старался проводить более «молодые решения». Пока дело было в эмиграции и касалось бумажных революций, это было терпимо, но в Москве, когда к нему приходили молодые коммунисты, молодые рабочие, он сразу и без спора подписывал все, что от него требовали, а потом брал себя за голову, охал и жаловался.

В 1905 году он принадлежал к лекторско-литературной группе при Московском комитете, и меня часто посылали к нему (...) по разным делам от имени студенческой партийной организации. После восстания декабря 1905 года появился сборник «Текущий момент», в котором была статья на военные темы в историческом аспекте, подписанная М-ый. Статья нам понравилась, и мы решили пригласить автора (Покровского) работать в организации в качестве «теоретика». Он охотно согласился, получил кличку «Домовой» (я помимо Семена Петровича для некоторых категорий товарищей был Водяным) и больше не показывался ни разу. Потребность в его присутствии мы не ощущали, и он отпал сам собою. Поэтому, когда на летней конференции Московской организации была выставлена его кандидатура в Московский комитет, он смотрел на меня с большим страхом, боясь, что я расскажу о его работе у нас. Потом на некоторое время я потерял его из виду и встретился с ним лишь в эмиграции в Париже осенью 1909 года.

Он был в оппозиции к Ленину и принадлежал к группе «Вперед» вместе с Луначарским, Богдановым, Алексинским, Мануильским и многими другими. Сейчас это звучит курьезно, но оппозиция была «слева». Был очень забавный момент, когда на одном из собраний парижской группы, во имя идеи права, Покровский отстаивал право уральских экспроприаторов на захваченные деньги, а Ленин сказал ему с презрением: «По вашей логике вы должны были отстаивать такие же права буржуазии; думать надо, товарищ Покровский, головой надо думать». Статьи Покровского представляли из себя смесь очень остроумных и метких

выражений с абсолютно абсурдными мыслями. Он как-то не умел найти, что существенно, а что нет, и шел скорее руководимый притяжениями и отталкиваниями, чем здравым смыслом.

Оказавшись за границей, без возможности продолжать научную карьеру, он возненавидел профессию и писал в заграничных изданиях чудовищно лживые вещи о русской науке и о русских ученых. Марксистский метод он понял как абсолютное первенство экономического фактора над всеми остальными, и из своих исторических работ он исключил все события, все исторические вехи, кроме развития экономики. Помня полемику с Михайловским по поводу роли героев в истории, он из программы научно-популярного отдела в Госиздате выкинул биографическую серию и очень сконфузился, когда Воровский ему напомнил о серии «Кому пролетариат ставит памятники», введенной в программу по указанию Ленина. Когда началась война 1914–1918 годов, он понял «пораженчество» Ленина не как борьбу со всеми империализмами — союзническими и немецким, а как борьбу с союзническим империализмом и отстаивал правильность поведения немцев даже там, где отстаивать было невозможно. В личной жизни он был чрезвычайно несчастлив и старался разрешить все трудные и запутанные вопросы как полагается социалисту, т. е. с человечностью и достоинством. Может быть, именно в этом он был наиболее самим собой.

Оказавшись замнаркомом при наркOME Луначарском и понимая, что мало что переменилось бы, если бы было наоборот, он чувствовал большую обиду и очень часто ворчал на все, что делалось, иногда совершенно по-обывательски. При рассмотрении личных ходатайств, которые сыпались без числа, он проявлял неизменно большую доброту, настоящую, не походившую на болтливую доброту Луначарского.

Таким образом, уже к концу 1919 года я основательно оброс различными обязательными занятиями, бравшими значительное время, и это при полном отсутствии городских путей сообщения.

Времени у меня оставалось для дома все меньше и меньше. Оно еще уменьшилось, когда неожиданно пришел ко мне Дмитрий Александрович Магеровский с неожиданным предложением. Это был весьма бойкий молодой профессор факультета общественных наук, когда-то (т. е. очень недавно) левый эсер, участвовавший даже в восстании левых эсеров в Москве летом 1918 года, чуть было не расстрелянный Бела Куном, покayaвшийся и ставший коммунистом. Д. А. был председателем так называемого Книжного центра, помещавшегося в одном из старых домов напротив «Континентала». Этот книжный центр, зависевший одновременно от Академического центра (Покровский) и от Госиздата (Воровский), представлял из себя гибрид со смешанными функциями: на его обязанности лежало создание новой научной литературы, и при нем были бесчисленные комиссии из профессоров по всевозможным специальностям; кроме того, он должен был скупать и собирать научные библиотеки и из этого книжного фонда снабжать высшие учебные заведения и научные учреждения. Всякий раз, когда я проходил мимо,

я испытывал желание попасть в одну из комиссий по моей специальности. Легко представить себе, как меня заинтересовало предложение Д. А., состоявшее в следующем: так как он должен был уехать на Украину в длительную командировку в качестве замнаркома юстиции, то мне предлагалось стать членом Коллегии и заместителем председателя с тем, чтобы в отсутствие Д. А. исполнять обязанности председателя. Коллегия состояла из Н. М. Лукина и В. П. Волгина, с которым мне было очень легко поладить. Третьим членом был сам М. Н. Покровский, который, конечно, никогда не приходил, но под протоколами подписывался. Книжный центр имел рабочий аппарат: секретариат, издательский отдел, книжный склад. В качестве главы учреждения бывать нужно было ежедневно. Мы с тобой посоветовались, и я согласился. Мне пришлось перенести мои остальные занятия на вторую половину дня.

В Книжном центре шла обычная рутинная работа комиссии, заключались договоры, но ничего не печаталось. Я много раз ходил по этому поводу ругаться с В. В. Воровским, который неизменно встречал меня фразой: «Скажите, что вас так гневит?» Я ему излагал, что именно, и вносил разные практические предложения, в том числе передать нам в эксплуатацию маленькую, но хорошо организованную типографию, не помню уже какого издательства. Он старался всегда рядом литературных фраз охладить мой издательский пыл, обращая мое внимание на положение страны и т. д. Я ему отвечал, что положение страны не станет лучше от бездействия типографий и от отсутствия элементарных учебников, я ему указывал на деятельность частных издательств. Он разводил руками и не предпринимал ничего. Я обращался к Михаилу Николаевичу, который отвечал путаными рассуждениями, чтобы обосновать по-марксистски квиетизм. На каждом заседании нашей коллегии мы требовали без результата сдвига с мертвой точки...

Как раз в это время заговорили снова о Курской магнитной аномалии. Красин обратился к Лазареву с предложением заняться этой работой. Московские физики, которые не терпели Лазарева, заговорили везде о том, почему собственно опять фигурирует Лазарев. Я отправился в Научный отдел наркомпроса к Д. Н. Артемьеву, чтобы переговорить об этом деле и, кстати, о других делах. Научный отдел сидел в бывшем округе — старом учреждении и со старинной мебелью. У Дмитрия Николаевича в кабинете были великолепные старинные кресла с бархатной фиолетовой обивкой, для него самого и для его посетителей. И вот я восседаю напротив его в таком кресле и излагаю ему свои дела. Он внимательно слушает. Я опускаю глаза на документы, поднимаю их: что за притча? Д. Н. сидит против меня в католической сутане и с тонзурой на голове. Еще несколько секунд: снова он в его обычном виде. Через несколько минут я снова роюсь в документах, снова поднимаю глаза, снова вижу Д. Н. в сутане и с тонзурой. Что за глупость? Откуда это? Он — видный коммунист, видный ученый, ректор Горной академии, член коллегии НЖО ВСНХ, заведующий научным отделом Наркомпроса, чисто русский: уж больше было бы оснований видеть его в православной поповской рясе.

Тут я принужден несколько изменить хронологический порядок и сделать два прыжка вперед. Через два года, в 1922 г., Д. Н. спрашивает научную командировку, уезжает в Чехословакию и не возвращается. В 1923 году осенью мы с тобой находимся в Париже и навещаем Владимира Ивановича Вернадского и его жену. Я уговариваю Вернадского вернуться в Россию; мы очень долго спорим, иногда оставляем этот вопрос и говорим о других вещах. Я ему задаю вопрос, не знает ли он, что случилось с его учеником Артемьевым. «Как же, знаю, — отвечает он мне, — Артемьев принял католичество и стал католическим священником, сейчас он находится в Риме при библиотеке Ватикана».

Но вернемся в Москву к апрелю 1920 г. Д. Н. обещает мне заняться вопросом о Курской магнитной аномалии, и мы с ним весьма любезно расстаемся. От него никаких больше известий по этому делу я не имел, но несколько дней спустя я получил от П. П. Лазарева весьма любезное извещение о моем назначении членом Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии с приглашением на ближайшее заседание. На заседание комиссии я иду с заранее принятым решением во всем и всюду быть против П. П. Лазарева, но картина, которую я застаю, заставляет меня задуматься и изменить мое решение. Заседание было весьма многолюдное. Из присутствовавших я помню Андрея Дмитриевича Архангельского, профессора геологии у нас на факультете, геофизиков из университета же Бастамова и Пришлецова, с которыми я был знаком уже, несколько магнитологов из Морского ведомства, присланных академиком А. Н. Крыловым, профессора Горной академии по горной разведке Ключанского, доцента той же Академии Ортенберга, представителя Горного Управления ВСНХ инженера Кисельникова и еще нескольких лиц. Выясняется, что рукопись Лейста с результатами его магнитной съемки была им передана немцам, что некий крупный консорциум из Берлина предлагает на некоторых условиях взять концессию на полосу Курской магнитной аномалии; очевидно, он и является владельцем материалов Лейста; у нас ничего нет, кроме рукописи Лейста, содержащей общее описание магнитного поля в этой области, но без всяких географических указаний и без числовых данных. Что делать в таких условиях? Лазарев и Архангельский предлагают принять предложение Красина о быстрой, хотя бы и упрощенной, магнитной съемке и немедленно к ней приступить. В этом пункте разногласий как будто нет, но они начинаются, как только поднимается вопрос о методах съемки и об инструментах для ее осуществления. Кисельников, Ключанский и Ортенберг настаивают на шведских инструментах и на шведских методах, Лазарев и Архангельский на использовании так называемых «котелков» морского ведомства, т. е. буссолей, снабженных дефлекторами де-Колонга. Разница весьма существенная: на всю Россию имеется только два шведских инструмента, и тут же выясняется, что даже сам Ключанский не умеет ими пользоваться; «котелков» имеется несколько десятков, и в лице штурманских офицеров имеется нужное количество квалифицированных наблюдателей. Кисельников, Ортенберг и Ключанский не пренебрегают ничем,

чтобы сорвать намечающуюся работу. Естественно, что в таких условиях я нашел нужным драться за патриотическое решение вопроса, хотя бы и в обществе П. П. Лазарева...

К этому времени относится одно любопытное дело. Астрономы ввели меня в Московское общество любителей астрономии, и очень скоро я оказался членом правления этого общества. Общество было того же типа, как Французское астрономическое общество, т. е. оно объединяло серьезных научных работников с любителями, иногда очень невежественными, но большими энтузиастами. Среди этих последних оказался личный шофер Дзержинского. Его ввел один молодой студент — Волохов, который некоторое время работал в ЧК и там пропагандировал в астрономическом направлении нескольких работников. Этот шофер подал по начальству записку с просьбой назначить его директором Московской обсерватории. Записка с сопроводительной бумагой поехала в Совнарком, откуда была переслана в Наркомпрос, оттуда она поехала в Главнауку... Велик был испуг директора обсерватории Блажко, когда он узнал, какой кандидат добивается его места. Велик был испуг на обсерватории: шофер самого Дзержинского! Ветер паники подул и в Общество любителей астрономии. Это дело потребовало ряд заседаний специальной комиссии. Все старались убедить шофера, что он не годится в директора, но тот победоносно отстранял все словесные атаки: «Скажите, что легче — быть директором обсерватории или народным комиссаром по морским делам? А кто был комиссаром? Такой же матрос, как и я. И уж ручаюсь вам, что тов. Дыбенко глупее меня и хуже знает морское дело, чем я — астроному. Если мне понадобится консультация — чего лучше (тут он рукой обнимал Блажко) — вот мой консультант: и компетентный и честный, а захочет посаботировать — чека за мной». При этих словах «консультант» зеленел. Я предлагал несколько раз комиссии голосовать вопрос, который был совершенно ясен, и, странное дело, члены комиссии, которые в частных разговорах были со мною совершенно согласны, от голосования отказывались, так как вопрос де был еще «недостаточно освещен». Тогда я пошел к Покровскому и через него, не говоря ему, в чем дело, получил свидание с Менжинским. Когда я ему описал всю эту картину, Вячеслав Рудольфович хохотал до упаду и обещал воздействовать на шофера. Так вдруг, за отсутствием кандидата, прекратилась деятельность комиссии...

Общее положение в стране становилось все хуже и хуже. Гражданская война кончилась, но вызванная ею разруха усиливалась. Гроном грянуло Кронштадское восстание, которое заставило пересмотреть положение и найти какой-то выход. Этот выход был нэп, и преддверием к нему явился выпуск червонцев, хотя и бумажных, но встреченных восторженно. Положение научных работников, как и всех, получающих зарплату в падающих рублях, стало еще хуже. Собственно зарплата утратила всякий смысл, но деньги в червонных рублях становились нужнее, чем когда-либо, с открытием магазинов, где было все, но в твердой валюте.

Академический паек становился все хуже и хуже, а в Петрограде все продукты в нем были заменены селедками. Представители Академии наук не отходили от Максима Горького, а Максим Горький не давал покоя Ленину. Было решено отправить специальную комиссию в Петроград из представителей Наркомпрода, Наркомпроса и профсоюзов для обследования положения ученых в Петрограде.

От Наркомпроса представителем был назначен я. В Петрограде к нам должен был присоединиться Максим Горький и от Академии наук А. Е. Ферсман. Было совершенно недопустимо, например, что в Петроградском порту существовала артель грузчиков, в которую входили профессора, что гордость нашей науки астроном Белопольский ходил пешком из Пулкова в Петроград за академическим пайком, таща его обратно на своих плечах. Про Дом ученых говорили, что это Родэвспомогательное учреждение, по имени знаменитого Родэ, в прошлом владельца широко известной «Виллы Родэ», а ныне заведующего Домом ученых под наблюдением Максима Горького.

С другой стороны, Петросовет жаловался, что на академический паек напали лица, не имеющие никакого отношения к науке. Наконец, очень обширная группа интеллигенции (писатели, артисты и т. д.) совершенно ничего не получала и находилась в бедственном положении. Обо всем этом мы поговорили еще в поезде, пришли к полному соглашению и наметили программу действий. После неизбежной остановки в Доме ученых мы должны были повидать Горького и Ферсмана, затребовать представителя Петросовета и с ним заняться просмотром списков пайков, чтобы снять с Петроградской комиссии улучшения быта ученых обвинения в легкомысленном фаворитизме и обработать этого представителя, чтобы иметь поддержку на заседании Петросовета, где мы должны были выступить с докладом. Спутники мои были настроены гораздо благоприятнее к ученым, чем вся головка Наркомпроса вместе взятая.

В Доме ученых нас встретил, конечно, Родэ, приблизительно так, как он встречал на «Вилле Родэ» петроградского градоначальника. Все было на месте, и простыни, и одеяла, и подушки, нас ждал прекрасный утренний завтрак. Во время завтрака пришел Алексей Максимович познакомиться с нами и быстро понял, что нас пропагандировать не нужно. Обедать мы должны были у него, но до обеда нам предстояло много работы. Я должен был повидать петроградского уполномоченного Наркомпроса Кристи: визит вежливости, а главное, мне предстояло вместе с Ферсманом и представителем Петросовета просматривать списки. Мои спутники должны были заняться разговорами, пока в частном порядке, с петроградскими продовольственниками и профсоюзными деятелями, чтобы выяснить обстановку, ознакомиться с возможными возражениями и успеть найти противоядия. Заседание Петросовета должно было иметь место на следующий день, а после обеда нам предстояло под руководством Горького осмотреть редчайший музей: склад предметов искусства, конфискованных у знати и буржуазии.

Представитель Петросовета (не помню, кто это был; кто-то из видных петроградских коммунистов) был настроен чрезвычайно недоверчиво, но он явно был слабо подкован для того, чтобы противостоять Ферсману и мне. С Ферсманом, как местным и хорошо знакомым человеком представитель мало считался. Но я имел авторитет человека центра; притом у меня была огромная практика, приобретенная при бесчисленных переговорах в разных московских учреждениях. Я мог легко указать, какую пользу советское хозяйство может извлечь из математика и даже из археолога. К тому же и Маркс, и Энгельс, и Ленин пользовались всевозможными научными данными.

Просматривать весь материал не было никакой возможности: было несколько тысяч анкет, но мы просмотрели все спорные, признали все правильным, составили протокол и все трое его подписали, что было особенно важно для следующего дня. Так прошло мое время до обеда. Около двух дня я встретился с моими спутниками, которые также не потеряли зря времени: они выяснили наличие огромных и разнообразных запасов продовольствия на складах Петросовета и полную возможность восстановить академический паек в надлежащем виде.

У Горького мы нашли Ферсмана, Родэ и кого-то из сановников. Когда мы взглянули на стол, у нас разбежались глаза: закуски всех сортов, бутылки и флаконы всех цветов; можно было спросить, где мы: на «Вилле Родэ» до войны и революции или в голодном Петрограде 1921 года. Горький, в ответ на наши комплименты, указал на Родэ и сказал: «Все он, все он, он достанет, что угодно». Компания была явно пьющая, и я сразу взял себя под наблюдение, чтобы не перейти нормы и пить разумным образом. Давно уже не видел я такой свежей зернистой икры, такой семги, таких грибков и такого качества водки. После закуски последовал чрезвычайно обильный обед: прекрасная рыба, дичь, рокфор, настоящий рокфор; десерт, кофе, вина были безукоризненные, в каждый момент обеда в точном соответствии с блюдами. Разговор вертелся на текущем моменте. Кроме меня все были коммунисты, кажется даже Родэ. Говорили очень откровенно, и все ждали перемены курса и хотели ее, находя положение невозможным. Про Ленина кто-то сказал так: «Только он способен завести в такой тупик», а я добавил: «Но только он может из тупика вывести».

К концу обеда Горький потребовал, чтобы Родэ рассказал свои воспоминания о... «Вилле Родэ». Рассказывал он превосходно, была видна меткость. Наблюдательность и ирония. К сожалению, я забыл его рассказы и не мог бы повторить его словечки. Вот образчик. На Вилле Родэ водку подавали в чайниках (сухой режим!), и гарсоны должны были по виду клиента решать, какой ему чай нужен. Приходит генерал, садится, зовет гарсона и требует чая. Гарсон смотрит: нос красный и все признаки. Он приносит водки. Генерал наливает в стакан, подносит ко рту, глотает и давится. — «Патрона!» — Оказывается, это градоначальник. Является Родэ. — «Вы знаете, чем это пахнет?» — «Так точно, ваше

превосходительство, 3000 штрафа и три месяца тюрьмы». Градоначальник засмеялся. — «Ладно на этот раз, но чтобы больше этого не было».

После обеда мы поехали в склад-музей, который находился во дворце какого-то из великих князей. Картины были развешаны по школам, эпохам и странам в настоящем музейном порядке. Скульптуры также занимали самые для них выгодные места. Я был поражен и количеством и очень высоким качеством всего, что было выставлено. «Тут достаточно художественного материала, чтобы удвоить Эрмитаж, даже не спускаясь ниже первого сорта», — ответил мне Горький.

«Что же вы предполагаете со всем этим делать?» — «Если не разворуют, то наилучшие вещи попадут в государственные музеи, а также в новые провинциальные музеи: нужно распространять художественную культуру в массах. Часть пойдет за границу, в товарообмен, особенно вот это...» С этими словами он открыл потаенную дверь и ввел нас в секретное отделение, где были сосредоточены вещи сексуального характера. Ни до, ни после я не видал ничего подобного. Целые комплекты мебели — диваны, столы, кресла, стулья состояли целиком из мужских и женских половых органов; пепельницы, тарелки, блюда, чашки несли на себе эротические рисунки; картины изображали сцены изнасилований, извращений. Целый ряд зал был занят этими вещами. Горький зорким глазом художника наблюдал наши реакции и посмеивался про себя.

— «И что же, хорошо идет этот товар?» — «Еще как, требуют сейчас особенно много в Англию, товарищ Красин пишет...» — «А это тоже разворовывается?» — «Нет, сейчас не так; мы приняли меры, не беспокойтесь, а вот был тут один градоначальник, уже наш, после октября, который прислал сюда грузовики с ордерами. Служащие имели глупость выдать все, что он требовал, грузовики отправились в Финляндию, и сам он сбежал туда же...»

После этого осмотра мы вернулись в Дом ученых, ужинали там же и легли спать рано, предварительно потребовав Родэ с отчетностью Дома ученых. Мои спутники старались найти в отчетности съеденный нами обед, но где же им было изловить Родэ. Обед был там, но разыскать его было невозможно.

В Петросовете, куда мы все направились на следующее утро, заседание открылось речью члена Президиума Авдеева, к кругу ведения которого как раз все это относилось. Я видел его в первый и в последний раз. Он заявил, что собственно не понимает, почему об ученых нужно больше заботиться, чем о других категориях граждан, но поскольку центр на этом настаивает, что же, можно подкормить более молодых, а старые не нужны и пусть умирают. Я, конечно, сейчас же использовал его выступление на все 200 %, выразив удивление, что коммунист способен до такой степени отклоняться от партийной точки зрения и объясняя это возрастом и полной политической безграмотностью. После этого резкого начала я изложил причины, по которым страна нуждается в ученых и не когда-то потом, а именно сейчас. Я изложил затем те практические меры, которые необходимы теперь же и закончил надеждой, что петро-

градская пресса в своих отчетах не упомянет выступления Авдеева, как слишком компрометирующего...

Затем выступали представители писателей и артистов, говорившие о совершенной голодухе и умолявшие о помощи. Их выступление носило патетический характер, и им были даны некоторые обещания. Наш план был принят. Мы выполнили свою задачу и смогли в тот же вечер выехать в Москву. Не знаю, были ли сдержаны обещания, данные писателям и артистам, но по отношению к ученым они были выполнены...

Публикация Н. А. Сидорова

Нерукотворный памятник Костицыну

А. В. Бялко

Поразительно, что при высочайшей общественной активности в революционной России В. А. Костицын успевает заниматься и собственной научной работой. Надо сказать, что деятельный характер Владимира Александровича довольно быстро увел его в прикладные области от чистой математики. Там, впрочем, он успел завоевать достойный авторитет. Его ранние работы 1909–1913 гг. по системам ортогональных полиномов, опубликованные в московском «Математическом сборнике» и во французском журнале «Comptes Rendus», получили высокую оценку ведущих математиков России Д. Ф. Егорова и Н. Н. Лузина.

Но кипучая жизнь рождала практические задачи, и Костицын сумел продемонстрировать, как полезна фундаментальная подготовка для их решения. Еще в условиях гражданской войны советское правительство поставило перед Академией наук вопрос о практической разработке колоссального месторождения железных руд в Курской губернии, не имевшего выхода на поверхность, но проявлявшегося в виде сильных отклонений магнитного поля от стандартного направления. Это явление получило название Курской магнитной аномалии. Первые измерения магнитных полей были проведены еще до революции профессором Московского университета Э. Е. Лейстом, но их точность и количество оказались недостаточны для определения того, где и на какой глубине находится месторождение железных руд. Кроме того, часть данных находилась в Германии и была недоступна для обработки. Комиссия по исследованию Курской магнитной аномалии начала работу в ноябре 1918 г. под научным руководством академика П. П. Лазарева, затем ее воз-

главил академик И. М. Губкин. Костицын принял участие уже в первом заседании комиссии в сентябре 1920 г. Была организована геодезическая и магнитная съемка, а также измерение гравитационных аномалий. В результате к 1922 г. измерения были проведены, а с непосредственным участием Костицына была решена и математическая задача картирования источника магнитных аномалий. В апреле 1923 г. бурение подтвердило правильность расчетов, из скважины был извлечен образец, оказавшийся железистым кварцитом. В том же году вышла из печати брошюра Костицына «Курская магнитная аномалия». К сожалению, глубина залегания месторождения оказалась довольно большой, поэтому его промышленная разработка началась только в 1959 г.

Другую научную тематику, в которую Костицын внес вклад, не утративший своего значения до сего времени, можно в целом назвать автоколебаниями природных систем. Осцилляции свойственны многим естественным процессам: это и периодические процессы, связанные с годичным движением Земли вокруг Солнца и с суточным ее вращением вокруг своей оси, это и механические колебания маятников, струн, мембран. Все эти движения описываются дифференциальными уравнениями, они были хорошо изучены математиками и физиками XVIII и XIX веков. Но за то же время был обнаружен ряд природных процессов, которые испытывали нерегулярные (квазипериодические) колебания. Наиболее яркие их примеры — это ледниковые периоды Земли (с характерными временами 100 и 40 тысяч лет), циклическая активность Солнца (11 лет), наконец, автоколебания биологических систем, из которых хорошо известны сильные вариации численности песцов и леммингов, обитателей тундры.

Физическое и математическое описание таких систем в начале века оставалось загадкой. Причина 11-летнего цикла Солнца не ясна и до сих пор, объяснения ледниковых периодов многочисленны и продолжают вызывать научные споры, но математические описания автоколебаний систем хищник—жертва и химических автоколебательных реакций Белоусова—Жаботинского стали ясны во многом благодаря работам Костицына.

Подходящим математическим аппаратом для описания систем, испытывающих автоколебания, оказались интегральные уравнения. Они часто возникают при описании поведения индивидуального объекта в среде, свойства которой зависят от всей совокупности подобных объектов. Теория интегральных уравнений стала быстро развиваться после работы шведского математика И. Фредгольма, опубликованной в 1900 г. Далее эту тематику развивали выдающиеся ученые Д. Гильберт и А. Пуанкаре, а в 1913 г. вышла книга итальянского математика В. Вольтерры, которому удалось найти решения одного из классов интегральных уравнений.

Они оказались важны для естественнонаучных приложений, и несколько таких примеров как раз нашел и исследовал Костицын. Это уравнения, вытекавшие из его гипотезы возникновения ледниковых периодов,

уравнения динамики газового состава атмосферы, а также математическое описание простейшей биологической системы хищник—жертва. Эти работы были опубликованы уже в эмиграции и принесли ему широкую известность. Но итоговое значение Костицына для мировой науки оказалось значительно выше его прижизненного авторитета. Научные направления, начатые им, при их дальнейшем развитии оказались в центре внимания наук о Земле и математической физики.

Газовый баланс атмосферы, впервые рассмотренный в его книге 1935 г. «Эволюция атмосферы, биосферы и климата» (издана в русском переводе в 1984 г. с предисловием академика Н. Н. Моисеева), сегодня выглядит несколько иначе. В поступлении углекислого газа в атмосферу стала заметна антропогенная составляющая, а значение расчетов кругооборота углерода существенно возросло, поскольку в наступившем веке человечеству грозит невиданное потепление климата — следствие парникового эффекта от углекислоты. Мы гораздо больше знаем теперь о ледниковой истории Земли, а моделирование климата в будущее и в прошлое производится с помощью мощных вычислительных средств для множества зон на земном шаре. Однако взаимосвязь основных процессов, их нелинейность в основном описываются уравнениями Костицына. Простые, но содержательные уравнения такого типа и сегодня помогают отделить главное от второстепенного при анализе изменчивости климата.

Биофизика от анализа двухуровневых систем типа хищник—жертва перешла к изучению множественных связей и трофических цепей сложных систем. Одна из наиболее модных сегодня наук, экология, рассматривает всю совокупность взаимосвязей для биологических сообществ. И здесь основополагающие работы Вольтерры и Костицына не теряют своего значения и актуальности.

Очень интересно происходило дальнейшее развитие математической физики. Среди нелинейных дифференциальных уравнений, и притом таких, которые описывали реальные физические процессы (уравнение Шредингера квантовой механики, уравнение Кортевега де Фриза из гидродинамики), были найдены удивительные классы решений. В их числе, например, солитоны — волны, распространяющиеся в нелинейной среде без затухания и изменения формы. Кроме того, при анализе нелинейности возникли математические формулировки таких процессов, наблюдавшихся в природе, но не поддававшихся количественному анализу, как фрактальность, самоподобие и странный аттрактор. Эти новые понятия существенно расширили математическое описание тех автоколебательных процессов, которые исследовали Фредгольм, Вольтерра и Костицын.

В Америке Тамаркина звали Джей Ди

Н. С. Ермолаева

Американская наука в 1945 г. потеряла выдающегося математика и талантливого организатора науки Якова Давыдовича Тамаркина. Мы расстались с ним гораздо раньше: в 1925 г. он навсегда уехал из советской России. Имя эмигранта Тамаркина не упоминалось в отечественной печати, и хотя иногда проскальзывали ссылки на его работы, ни в одном из биографических справочников, вышедших в нашей стране, его имени до последнего времени не было. Теперь стало возможно рассказать об этом человеке. Но прежде приведем текст некролога, опубликованного Американским математическим обществом:

«18 ноября 1945 г. в связи с безвременной кончиной Якова Давыдовича Тамаркина на пятьдесят восьмом году его жизни Американское математическое общество потеряло одного из своих самых активных и любимых членов. Его здоровье некоторое время ухудшалось, но мы надеялись, что он все же восстановит свои силы и работоспособность, которая была для него важнее, чем сама жизнь. Джей Ди был другом всех нас и математиков всего мира, для которых двери его дома были всегда открыты. Чрезвычайно человечный, щедрый, общительный и сердечный, он любил музыку, хороший стол и дружескую беседу. Активно помогал многочисленным друзьям в их личных проблемах и научной работе и неограниченно дарил им свое время и свои советы. Его сердечный смех и громкий голос поднимали настроение всюду, где бы он ни был. Он явился чужестранцем на наши берега два десятка лет тому назад, но вскоре стал играть активную роль в американской математической жизни, для развития которой не пожалел сил. Он много и активно читал, и среди нас немало тех, кто пользовался его конструктивной критикой и советами. Его критические способности были скоро замечены и использованы: он работал в редакционных коллегиях журналов “Transactions”, “Colloquium [Publications]”, “Mathematical Reviews” и “Mathematical Surveys”. Был членом совета Американского математического общества с 1931 г. и его вице-президентом в 1942–1943 гг. Его научная честность, высокие требования и гражданское мужество ощущались всюду и всегда.